

Н. Лесков

На ножах

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Л50

Л50 **Лесков Н.С.**
На ножах / Н. Лесков – М.: Книга по Требованию, 2024. – 544 с.

ISBN 978-5-4241-1333-8

Это необычная книга. И, как ни удивительно, книга новая. Она была запрещена при Советской власти, ведь основа ее - едкая сатира на "новых людей". Герои Тургенева и Чернышевского предстают со страниц Лескова совсем по-новому. Даже в момент первого своего издания, "На ножах" вызвала массу скандалов, ведь в персонажах легко угадывались тогдашние герои. Мошенники от нигилизма, так называл их писатель. Не потеряна злободневность и сегодня. Социалистическая ячейка, глазами Лескова, - это не просто жизнь, это жизнь "на ножах".

ISBN 978-5-4241-1333-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024
© Н.С. Лесков, 2024

Николай Лесков
На ножах

Часть первая

Боль врача ищет

Глава первая

Отступница

В губернском городе N есть довольно большой деревянный дом, принадлежащий господам Висленевым, Иосафу Платоновичу, человеку лет тридцати пяти, и сестре его, Ларисе Платоновне, девушке по двадцатому году. Дом этот, просторный и барский, был бы вовсе бездоходен, если б его владельцы захотели жить в нем, не стесняясь. В нем девять комнат, по старорусскому дворянскому обычаю расположенных так, что двум семействам в них никак разместиться невозможно. Родители нынешних владельцев строили дом для себя и не предвидели никакой нужды извлекать из него какие бы то ни было доходы, а потому и планировали его, что называется, по своей фантазии. Старикам не было и нужды стеснять себя, потому что у них по старине были хорошие доходы с доходного места. При известной беспечности, вообще свойственной русской натуре, доходам этим не предвиделось конца, а он вдруг и пришел: старик Платон Висленев, советник одной из губернских палат, лег однажды спать и не проснулся. Вдова его нашла в бюро мужа очень небольшую сумму денег и получила тоже очень небольшой пенсион. Всем этим прожить было невозможно, тем более, что приходилось воспитывать нынешних владельцев дома, Иосафа Платоновича, бывшего тогда в шестом классе гимназии, и Ларису Платоновну, оставшуюся в совершенном малолетстве. Дом надо было сделать из бездоходного доходным. С этою целью вдова Висленева построила во дворе, окнами в сад, флигелек в пять небольших комнат, и сама с детьми поселилась в этом флигельке, а большой дом начала отдавать внаймы. С этих пор доходы ее стали таковы, что она могла содержать сына в гимназии, а потом и в университете, а дочь добрые люди помогли устроить в институт на казенный счет. Вдова Висленева вела жизнь аккуратную и расчетливую, и с тяжкою нуждой не зналась, а отсюда в губернских кружках утвердилось мнение, что доходы ее отнюдь не ограничиваются домом да пенсией, а что у нее, кроме того, конечно, есть еще и капитал, который она тщательно скрывает, приберегая его на приданое Ларисе. Доходили такие слухи и до самой вдовы, и она их, по общему мнению, опровергала очень слабо: старушка имела в виду, что эти толки ей не повредят. Семь лет тому назад подозрения насчет таинственного ларца вдовы Висленевой получили еще новое и для местных прозорливцев неотразимое подтверждение. Иосаф Платонович Висленев тотчас, по окончании университетского курса, приехал домой, и только что было определился на службу, как вдруг его ночью внезапно арестовали, обыскали и увезли куда-то по политическому делу. Спасения и возврата его никто не чаял, его считали погибшим навеки, причем губернскому человечеству были явлены новые доказательства человеческого, или, собственно говоря, женского коварства и предательства, со стороны одной молодой, но, как все решили, крайне испорченной и корыстной девушки, Александры Ивановны Гриневич. Выручил же Иосафа Висленева материн заповедный ларец. Дело об этом предательстве требует подробного объяснения.

Иосаф Платонович Висленев еще чуть не с пятнадцати лет был влюблен в

дочь нанимавшего их дом инспектора врачебной управы Гриневича. Близкие люди считали эту любовь большим несчастьем для молодого человека, подававшего блестящие надежды. Считали это несчастьем, конечно, не потому, чтобы кто-нибудь признавал Сашеньку Гриневич, тогда еще девочку, недостойною со временем хорошей партии, но потому, что взаимное тяготение детей обнаружилось слишком рано, так что предусмотрительные люди имели основание опасаться, чтобы такая ранняя любовь не помешала молодому человеку учиться, окончить курс и стать на хорошую дорогу.

Опасения, и понятные, и уместные, на этот раз, как редкое, быть может, исключение, оказались излишними. Любовь Иосафа Платоновича Висленева к Александре Ивановне Гриневич не помешала ему ни окончить с золотой медалью курс в гимназии, ни выйти одним из первых кандидатов из университета. Пока молодой Висленев был в гимназии, а Александра Ивановна ходила в пансион, родители не препятствовали их юной привязанности. Когда Висленев уехал в университет, между ним и Сашей Гриневич, оставившей в это время пансионские уроки, установилась правильная переписка, которой никто из родителей не заботился ни приостанавливать, ни проверять. Все это за обычай стало делом, имеющим правильное течение, которое, как все верили, должно завершиться венцом.

Родители Сашеньки имели про черный день состояньице, правда, очень небольшое, но во всяком случае обеспечивавшее их дочери безбедное существование. Таким образом Сашенька, которая была недурна собой, очень способна, училась хорошо, нрав имела веселый и кроткий, чем она не невеста? Иосаф Висленев молодец собой, имел дом, университетское образование: стало быть, чем же он не жених? Матери очень многих девиц, поставленных гораздо лучше, чем дочь доктора Гриневича, и гораздо положительнее ее обеспеченных, не пренебрегли бы таким женихом, как Висленев, а Сашеньке Гриневич партия с Висленевым, по всеобщему приговору, была просто клад, за который эта девушка должна была держаться крепче.

По общим замечаниям, Сашенька понимала свою пользу и держалась, за что ей следовало держаться, превосходно. Говорили, что надо было дивиться ее такту и уму, твердым и расчетливым даже не по летам. С Иосафом Платоновичем она не всегда была равна, и даже подчас для самого ненаблюдательного взгляда было заметно, что между ними пробегали легкие тени.

— Наши дети дуются, — говорили друг другу их матушки, бывшие между собою друзьями.

Дети дулись, но их никто не мирил и никто не уговаривал; за ними, однако, наблюдали со вниманием и очень радовались, когда ссора прекращалась и между ними восстанавливалась дружба и согласие, а это случалось всегда немедленно после того, как Иосаф Висленев, переломив свою гордость и изыскав удобную минуту уединенного свидания с Сашей, просил у нее прощения.

В чем заключались те вины Иосафа Висленева, которые Александра Ивановна разрешала и отпускала ему не иначе как после покаяния? Это оставалось тайной, этого никто из родных и домашних не знал, да и не усиливался проникнуть. Однажды лишь одной досужей соседке вдовы Висленевой удалось подслушать, как Саша журила Иосафа Платоновича за его опыты в стихотворстве. Это многих возмутило и показалось капризом со стороны Саши, но Иосаф Платоно-

вич сам сознался матери, что он писал в стихах ужасный вздор, который, однако, отразился вредно на его учебных занятиях в классе, и что он даже очень благодарен Саше за то, что она вернула его к настоящему делу.

Это раз навсегда примирило мать Висленева с тенью в отношениях Саши к Иосафу Платоновичу, и вдова не преминула, кому только могла, рассказать о Сашенькиной солидности.

Солидности этой, однако, не всеми была дана одинаковая оценка, и многие построили на ней заключения, невыгодные для характера молодой девушки. Некоторые молодые дамы, например, называли это излишнею практичностью и жесткостью: по их мнению, Саша, имея она душу живую и восприимчивую, какую предполагает в себе каждая провинциальная дама, не убивала бы поэтические порывы юноши, а поддержала бы их: женщина должна вдохновлять, а не убивать вдохновение.

Вдова Висленева не внимала этим речам, ей нелегко было содержать сына в школе, и потому она страшно боялась всего, что угрожало его успехам, и осталась на стороне Саши, которою таким образом была одержана первая солидная победа над всеми желавшими соперничать с нею в семье жениха.

Старые дамы глядели на дело с другой стороны и, презирая вдаль, предсказывали утвердительно одно, что Саша раньше времени берет Иосафа Платоновича под башмак и отныне будет держать целую жизнь под башмаком.

Мать Висленева явила столько характера, что не смущалась и такими предсказаниями и, махая рукой, отвечала, что «Улита едет, а когда-то будет!»

Мать Александры Ивановны, в свою очередь, пробовала допрашивать дочь, за что она порой недовольна на Висленева, но Саша обыкновенно кротко отвечала:

– Так, за пустяки, татап!

– Так за пустяки, мои друг, зачем же сердиться? Споры во всяком случае не красят жизнь, а темнят ее.

– Ну, мамочка, поверьте мне, что я не хочу же, чтоб его жизнь мрачилась, а, напротив, желаю ему счастья и...

Девушка потупилась и замолчала.

– И что, Alexandrine? – спросила ее мать, положив на колени свое шитье и вскинув на лоб черепаховые очки.

– И я, татап, сама стыжусь беспрестанных размолвок и страдаю от них больше, чем он. Верьте, что я тысячу раз сама охотнее просила бы у него извинения... я сделала бы все, чего бы он только захотел, если б я... была виновата!

– Пред ним?

– Нет, татап, не пред ним... этого я даже не допускаю, но пред правдой, пред долгом, пред его матерью, которой он так обязан. Поверьте, татап, что все, что в этом отношении в нем для других мелко и ничтожно, то... для меня ужасно видеть в нем. Он... – проговорила Саша и снова замялась.

Старая Гриневич посмотрела на дочь пристальным взглядом и тихо поманила ее к себе.

Девушка опустила коленами на скамейку, стоявшую у ног матери, и, взяв ее руки, поцеловала их.

Старуха откинула набежавшие на лоб дочери каштановые кудри и вперила пристальный взгляд в ее большие глаза.

– Скажи мне, что он делает, мой друг? – прошептала мать.

– Мама, дружок мой, не спрашивай меня об этом, это, может быть, в самом деле все пустяки, которые я преувеличиваю; но их... как тебе, мама, выразить, не знаю. Он хочет любить то, чего любить не может, он верит тем, кому не доверяет; он слушается всех и никого... Родная! прости мне, что я тебя встревожила, и забудь о моей болтовне.

Когда приезжал на каникулы Иосаф Висленев из университета, он и Саша встречались друг с другом каждый раз чрезвычайно тепло и нежно, но в то же время было замечено, что с каждой побывкой Висленева домой радость свидания с Сашей охладевала. Теней и прежних полудетских ссор теперь, правда, не было, но зато их в молодой девушке заменили сдержанность и самообладание и в речи, и в приемах. Впрочем, было ясно, что это была только сдержанность, а не измена в чувствах. Опытный и зоркий взгляд, наблюдая молодых людей, мог заметить, что они любили друг друга по-прежнему, а Саша еще и больше прежнего. Чем дальше Висленев уклонялся от ее идеала, тем сильнее овладевал ее сердцем, ее волею и ее помыслами. Так любят в жизни раз, далеко пред тою порой, когда любовь послушна разуму.

Любовь, самая чистая, самая преданная, сказывалась у Саши вниманием ко всем вестям, касавшимся Висленева, выливалась в пространнейших письмах, которые она ему писала аккуратно каждую неделю.

Но вот прекратились и письма. Отчего и как? Это опять оставалось их же секретом, но корреспонденция прекратилась, и на лбу у Саши между бровями стала набегать тонкая морщинка.

Так стояли дела в последний год пребывания Висленева в университете, когда Саше Гриневич только что минуло восемнадцать лет, а ему исполнилось двадцать четыре года. Окончательно же Висленев потерял свою невесту следующим образом.

Приехал Висленев домой, определился на службу в губернскую канцелярию; служит, сводит знакомства. Саша выезжает мало, однако и не избегает выездов, показывается с другими на губернских вечерах, раутах; и весела она, и спокойна, и не отказывается от танцев. С Висленевым холодна. В городе решили, что дело между ними кончено. Разные лица, то самой Саше, то ее родителям, начали делать предложения. Сначала ее руки искал генерал Синтянин, если не очень важное, то очень влиятельное лицо в районе губернии, вдовец, с небольшим пятидесяти лет, имеющий хорошее содержание и двухлетнюю глухонемую дочь. Предложение генерала было отклонено, чему, впрочем, никто и не удивился, потому что хотя Синтянин еще бодр, и свеж, и даже ловок настолько, что не боялся соперничества молодых людей в танцах, но про него шла ужасная слава. Помнили, что когда он, десять лет тому назад, приехал сюда из Петербурга в первом штаб-офицерском чине, он привез с собою экономку Эльвиру Карловну, чрезвычайно кроткую петербургскую немку. Эльвира Карловна не была принята нигде во все годы, которые она провела в должности экономки у генерала. Красотою ее, хотя и довольно стереотипною, по беспредельной кротости выражения, можно было любоваться только случайно, когда она, глядя в окно, смаргивала с глаз набегавшие на них слезы или когда из-за оконной ширмы видно было ее вздрагивающее плечо. Она была всегда если не в слезах, то в страхе, – так ее все себе и представляли, и связывали это представление с характером генерала Синтянина. А какой

это был характер, про то Бог один ведал, хотя по наружности и приемам генерал был человек очень мягкий, даже чересчур мягкий. Для женщин Синтянин был особенно антипатичен, потому что он на словах был неумытно строг к нравам; трактовал женщин несовершеннолетними, требующими всегдашней опеки, и цинически говорил, что «любит видеть, как женщина плачет». Ко всему же этому у генерала Синтянина, человека очень стройного и высокого роста, при правильном и бледном матовом лице и при очень красиво-павших сединах, были ужасные, леденящие глаза, неопределенного, темно-серого цвета, без малейшего отблеска. Такой цвет имеет пух под крыльями сов. Свыкнуться с этими глазами было невозможно.

Но и этого мало: генерал Синтянин нашел еще средство восстановить против себя всех женщин города одним поступком, которого неловкость даже сам сознавал и для объяснения которого снизошел до того, что предпослал ему некоторые оправдания, несмотря на небрежение свое к общественному мнению.

Дело в том, что у Эльвиры Карловны, в то время, когда она приехала с Синтяниным из Петербурга, была десятилетняя дочь, Флора, от законного брака Эльвиры Карловны с бедным ювелирным подмастерьем из немцев, покинутым женою в Петербурге, неизвестно за что и почему! (Конечно, «не сошлись характерами».) Когда девочке минуло одиннадцать лет, ее стали посылать в пансион. Генерал в качестве «благодетеля» вносил за нее деньги, а через семь лет неожиданно вздумал завершить свои благодеяния, сделав ее своею законною женой «пред лицом неба и людей». Таково было его собственное выражение.

Пустых и вздорных людей этот брак генерала тешил, а умных и честных, без которых, по Писанию, не стоит ни один город, этот союз возмутил; но генерал сумел смягчить неприятное впечатление своего поступка, объявив там и сям под рукой, что он женился на Флоре единственно для того, чтобы, в случае своей смерти, закрепить за нею и за ее матерью право на казенную пенсию, без чего они могли бы умереть с голоду.

Объяснение это произвело свое впечатление и даже приобрело генералу в губернском обществе ретивых защитников, находивших брак его делом очень благородным и предусмотрительным. В самом деле, бедная по состоянию, безвестная по происхождению, запуганная Флора едва ли бы могла сделать себе партию выше генеральского писаря.

Большинство общества решило, что Флоре все-таки гораздо лучше быть генеральшею, чем писаршей, и большинство этим удовольствовалось, а меньшинство, содержащее необходимую для стояния города «праведность трех», только покивало головами и приумолкло.

Дело во всяком случае совершено, и никто не был властен в нем ничего ни поправлять, ни перерешать. Дом генерала всегда был заперт для всех. Далее генеральского кабинета, куда к нему являлись разные люди по делам, в дальнейшие его апартаменты не проникал никто. С женитьбой генерала ничто не переменилось. Синтянин и венчался с Флорой тихо, без всякой помпы, в походной церкви перехожего армейского полка; визитов с женой никому не делал, и ни жена его, ни теща по-прежнему не показывались нигде, кроме скромной приходской церкви. Они обе переменили лютеранство на православие и были чрезвычайно богомольны, а может быть даже и религиозны. Пелены, занавесы, орари и воздухи приходской церкви – все это было сделано их руками, и приходское духо-

венство считало Флору и ее мать ревностнейшими прихожанками.

Так прошло десять лет. Город привык видеть и не видеть скромных предстательниц генеральского семейства, и праздным людям оставалось одно удовольствие решать: в каких отношениях находятся при генерале мать и дочь, и нет ли между ними соперничества? Соперничества между ними, очевидно, не было, и они были очень дружны. К концу десятого года замужества Флоре, или по нынешнему Анне Ивановне, бог дал глухонемую дочку, которую назвали Верой.

Эльвиры Карловны скоро не стало. Густой, черный вуаль Флоры, никогда не открывавшийся на улице и часто спущенный даже в темном углу церкви, был поднят, когда она стояла посреди храма у изголовья гроба своей матери. На бедную Флору смотрели жадно и со вниманием, и она, доселе по общему признанию считавшаяся некрасивою, к удивлению, не только никому отнюдь не казалась дурною, но напротив, кроткое, бледное, с легким золотистым подцветом лицо ее и ее черные, глубокие глаза, направленные на одну точку открытых врат алтаря, были найдены даже прекрасными.

Старый священник, отец Гермоген, духовник усопшей Эльвиры Карловны, духовник и Флоры, когда ему заметили, что последняя так неожиданно похоронилась, отвечал: «не так вы выражаетесь, она просияла».

Флора не плакала и не убивалась при материном гробе, и поцеловала лоб и руку покойницы с таким спокойствием, как будто здесь вовсе и не шло дело о разлуке. Да оно и в самом деле не имело для Флоры значения разлуки: они с матерью шли друг за другом.

Через месяц после похорон Эльвиры Карловны в той же церкви отпевали Флору. Быстрая, хотя и очень спокойная кончина ее дала повод к некоторым толкам, еще более увеличивавшим общий страх к характеру генерала Синтянина. Как ни замкнут был для всех дом Синтянина, но все-таки из него дошли слухи, что генерал, узнав, по чьему-то доносу, что у одного из писарей его канцелярии, мараковавшего живописью, есть поясной портрет Флоры, сделанный с большим сходством и искусством, потребовал этот портрет к себе, долго на него смотрел, а потом тихо и спокойно выколол на нем письменными ножницами глаза и поставил его на камине в комнате своей жены. Что же касается до самого художника, то он был отчислен от канцелярии генерала и отдан в другую команду, в чьи-то суровые руки; несчастный не вынес тяжелой жизни, зачах и умер. Пред кончиною он не хотел причащаться из рук госпитального священника, а просил призвать к нему всегдашнего духовника его, отца Гермогена; исповедался ему, причастился и умер так спокойно, как, по замечанию некоторых врачей, умеют умирать одни русские люди. Через неделю этому же отцу Гермогену исповедала грехи свои и отходившая Флора, а двое суток позже тот же отец Гермоген, выйдя к аналою, чтобы сказать надгробное слово Флоре, взглянул в тихое лицо покойницы, вздрогнул, и, быстро устремив взор и руки к стоявшему у изголовья гроба генералу, с немым ужасом на лице воскликнул: «Отче благий: она молит Тебя: молишь ее ради ими же веси путями спаси его!» – и больше он не мог сказать ничего, заплакал, замахал руками и стал совершать отпевание.

Генерал Синтянин овдовел и остался жить один с глухонемою дочкой; ему показалось очень скучно; он нашел, что для него не поздно еще один раз жениться, и сделал предложение Александре Ивановне Гриневич. Та, как выше сказано, предложение это отклонила, и генерал более за нее не сватался; но в это же

время отец Саши, старый инспектор Гриневич, ни село ни пало, получил без всякой просьбы чистую отставку. В городе проговорили, что это не без синтянинской руки, но как затем доктору Гриневичу, не повинному ни в чем, кроме мелких взяток по должности (что не считалось тогда ни грехом, ни пороком), опасаться за себя не приходилось, то ему и на мысль не впадало робеть пред Синтяниным, а тем более жертвовать для его прихоти счастьем дочери. Об этом и речи не было в семейных советах Гриневичей. Они только сократили свои расходы и продолжали жить тихо и смирно на свои очень умеренные средства. Люди их, однако, не позабывали, и женихи к Alexandrine сватались и бедные, и богатые, и не знатные, и для губернского города довольно знатные, но Сашенька всем им отказ и отказ. Благодарит и отвечает, что она замуж не хочет, что ей весело с отцом и с матерью. Ее, наконец, и оставили в покое. Прошел другой год, как уже Висленев служил, и вдруг раздражается над ним туча: его арестовывают и увозят; старуха мать его в страшном отчаянии спешит в Петербург, ходит там, хлопочет, обивает пороги, и все безуспешно. «Иосафу спасенья нет», – пишет она родной сестре, майорше, Катерине Астафьевне Форовой. Весть эта, разумеется, содержится в секрете, но, однако, Катерина Астафьевна не таит ее от Гриневичей, потому что это все равно, что одна семья.

Старик Гриневич, врач старого закала, лечивший людей бузиной да ромашкой, и то перекрестясь, и писавший сверху рецептов: «cum Deo»,¹ разведав, в чем заключается вина Иосафа Платоновича, и узнав, что с ним и по его вине обречены к страданиям многие, поморщился и сказал дочери:

– Ну, знаешь, Саша, воля твоя, я хотя Висленевым старый друг и очень жалею Иосафа Платоновича, но хотелось бы мне умереть с уверенностью, что ты за него замуж не пойдешь.

– Ваша воля, папа, будет исполнена, – спокойно отвечала Саша.

Старик даже подскочил на месте: он считал свою дочь очень доброю, благоразумною, но такого покорного ответа, такого спокойного согласия не ожидал от нее.

– Я тебя, Саша, совсем не стесняю и не заклинаю... Нет, нет! Спаси меня от этого Боже! – продолжал он, крестясь и поднимая на лоб очки, – покидать чело-века в несчастьи недостойно. И пожелай ты за него выйти, я, скрепя сердце, дам согласие. Может быть, даже сами со старухой пойдем за тобой, если не отгонишь, но...

– Да полно тебе, Иван Петрович, на старости лет романтические слова говорить! – остановила его жена.

– Нет, постой, – продолжал доктор. – Это не роман, а дело серьезное. Но если, друг мой Сашенька, взвесить, как ужасно пред совестью и пред честными людьми это ребячье легкомыслие, которое ничем нельзя оправдать и от которого теперь плачут столько матерей и томятся столько юношей, то...

– Я понимаю, папа, что это грех и преступление.

– И хорошо еще, если он глубоко, искренно верил тому, что гибель тех, кого губил он, нужна, а если же к тому он искренно не верил в то, что делал... Нет, нет! не дай мне видеть тебя за ним, – вскричал он, вскочив и делая шаг назад. – Нет, я отрекусь от тебя, и если Бог покинет меня силою терпенья, то... я ведь еще про всякий случай врач и своею собственною рукой выпишу pro me acidum borussicum.²

Старик закрыл одною рукой глаза, а другою затряс в воздухе, как будто отгоняя от себя страшное видение, и отвернулся.

Саша приблизилась к отцу, отвела тихо его руку от глаз, прижала его голову к своей груди и, поцеловав отца в лоб, тихо шепнула ему:

– Успокойся, успокойся, мой добрый папа. Чего ты не хочешь, того не будет.

Саша в обыкновенном, спокойном, житейском разговоре с отцом и с матерью всегда говорила им *вы*; но когда заходила речь от сердца, она безнамеренно устраняла это *вы* и говорила отцу и матери дружеское *ты*.

– Нет, – заговорил опять, успокоившись, старик, – ты как следует пойми меня, дитя мое. Я ведь отнюдь не упрощаю тебя сделаться эгоисткой! Напротив, я заповедываю тебе, жертвуй собой, дитя мое, жертвуй собой на пользу ближнего и не возносись своею чистотой. Правому нечего гордиться пред неправыми, ибо неправый может исправиться, ибо в живой душе всегда возможно обновление. Неодолимым страстям есть известное оправдание в их силе и неодолимости; но с человеком, у которого нет... вовсе этого... как бы это тебе назвать... с человеком...

– Безнатурным, ты хочешь сказать?

– Да; вот именно ты это прекрасно выразила, с безнатурным человеком только измаешься и наконец сделаешься тем, чем никогда не хотела бы сделаться.

Весь следующий день Саша провела в молитве тревожной и жаркой: она не умела молиться тихо и в спокойствии; а на другой, на третий, на четвертый день она много ходила, гуляла, думала и наконец в сумерки пятого дня вошла в залу, где сидел ее отец, и сказала ему:

– Нет, знаешь что, папа, из всех твоих советов я способна принять только один.

– Скажи какой, дитя мое?

– Лучше сделать что-нибудь с расчетом и упованием на свои силы, чем браться за непосильную ношу, которую придется бросить на половине пути. Я положила себе предел самый малый: я пойду замуж за человека благонадежного, обеспеченного, который не потребует от меня ни жертв, ни пылкой любви, к которой я неспособна.

Старик щелкнул пальцем по табакерке, потянул носом большую понюшку и, обмахнувшись энергически платком, взглянул на дочь и спросил:

– Ты, Александра, это шутишь? За кого это ты собираешься?

– Папа, я иду за генерала.

Старый Гриневиц взглянул на дочь и тихо шепнул:

– Полно, Саша, шутить! – перекрестил ее и пошел в свой маленький кабинет.

Он был уверен, что весь этот разговор веден его дочерью просто ради шутки; но это была с его стороны большая ошибка, которая и обнаружилась на другой же день, когда старик и старуха Гриневицы сидели вместе после обеда в садовой беседке, и к ним совершенно неожиданно подошла дочь вместе с генералом Синяниным и попросила благословения на брак.

– Да-с, вы нас благословите-с! – прибавил тихим, но металлическим голосом генерал и, немного сморщась, согнул свои ноги и опустился рядом с Сашей на колени.

Старики растерялись и тут же благословили.